Ирина МЮРБЕРГ

ДИСКУРС НАСИЛИЯ: К. ШМИТТ ПРОТИВ Х. АРЕНДТ

Различие в понимании феномена насилия у Х. Арендт и К. Шмитта связано с различием путей, выбранных ими для разрешения конкретных проблем политики. В статье анализируются сильные и слабые стороны их концепций и утверждается, что созданное т.о. дискурсивное пространство создает необходимые предпосылки для теоретических новаций.
The distinction in understanding of phenomenon of violence by H. Arendt and K. Schmitt is connected with the distinction of ways, chosen by this persons for solution the problems of policy. Strong and weak sides of their conceptions are analyzed in article. It is being affirmed that so called «discourse space» creates necessary preconditions for theoretical innovations.

Ключевые слова:
инструментальность насилия, тоталитаризм, власть, легитимность, «политическое», атомизация, «дефицит общества», терроризм, автономия политического, «друг – враг», дискурс насилия, десизионизм, чрезвычайная ситуация, суверен, «эвентуальность борьбы», война, соревновательность, агонизм, адверсативная модель; instruments of violence, totalitarianism, power, legitimacy, the political, atomization, deficit of society, terrorism, autonomy of the political, friend-enemy, discourse of violence, decisionism, state of emergency, sovereign, eventuality of struggle, war, competitiveness, agonism, adversarial model.

Немецкий мыслитель Карл Шмитт (1888–1985) известен специалистам как крупнейший теоретик политики. Для историков и очевидцев драматических событий середины XX в. Шмитт – это, прежде всего, человек, запятнавший себя сотрудничеством с нацистами. Заслуженно преданный всеобщему осуждению в послевоенной Европе и, казалось бы, окончательно преданный забвению, с 1970-х гг. Шмитт-теоретик вновь начинает обретать утраченное влияние. В начале XXI в. статус его как носителя важных для современности идей остается чрезвычайно высоким. Столь неординарное влияние наследия Шмитта можно объяснить оригинальностью понимания им политики как таковой, нетривиальностью и спорностью понятий, выдвинутых им в качестве «краеугольных камней» политической теории.

Философы всех времен видели предназначение политической деятельности в том, чтобы избавлять общество от грозящих любым человеческим объединениям вспышек насилия. Понимание важности этой цели на протяжении веков заставляло выносить за рамки политической теории размышления о насилии как таковом[1]: политическая власть хороша в той мере, в какой хороши ее цели. Эту очевидную истину Шмитт проинтерпретировал особым образом. Задача политики (в отличие, например, от религии, миссия которой – постоянно указывать прихожанам на добро и предостерегать от зла) в том, чтобы провести общество от наличного состояния к некоему иному – тому, что мы считаем благом. Именно этой задаче подчинены все истинно политические начинания. Так, сила властителя как суверена по-настоящему проявляется им лишь в чрезвычайном положении – там, где требуется выйти из проложенного законами и обычаями привычного русла и совершить переход к чему-то иному, принять волевое решение. По убеждению Шмитта, во всем совершающемся вокруг нас ровно столько политики, сколько есть в каждом конкретном контексте уникальных решений, являющихся ответом на возникающие чрезвычайные (нестандартные) ситуации. С этой точки зрения политический процесс есть постоянное нахождение нового; в этом смысле он является прерогативой «вождей»: ни движения масс, ни наличные институты, ни правовые

МЮРБЕРГ Ирина Игоревна – к.полит.н., старший научный сотрудник сектора истории политической философии ИФ РАН irina.myrberg@gmail.com

[1] Известное исключение – мыслители типа Н. Макиавелли и Т. Гоббса.

установления за создание нового ответственны быть не могут.

Импульс к занятиям политикой следует искать глубже – по Шмитту, в самой природе человека. В каждом из нас, убежден он, заложен страх перед «чужим». Первое, что делал, делает и всегда будет делать любой человек, оказавшись в незнакомой ситуации, – это делить окружающих на «своих» и «чужих». Надежды на мир, состоящий только из друзей, утопичны, несбыточны, аполитичны.

Таким образом, уже на стадии исходных посылок мыслитель совершает важный отход от традиционной политической философии с ее культом благих намерений. При всей моральности целей и принципов, которыми могут руководствоваться люди, благие намерения никогда не будут единственным мотивом их поведения. Человек занят не одними только помыслами о благе; в его жизни постоянно присутствует и другой, не менее мощный мотив – желание уберечься от зла, воплощением которого является для него «чужой». Вот почему насилие как естественная реакция на зло неизменно встроено в том или ином виде, в той или иной степени в отношение к «чужому».

Сказанное имеет самое непосредственное отношение к политике как специфическому виду человеческой деятельности. «Всякая противоположность – религиозная, моральная, экономическая или этническая, – писал Шмитт в 1927 г., – превращается в противоположность политическую, если она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разделять людей на группы друзей и врагов. Политическое заключено не в самой борьбе, которая опять-таки имеет свои собственные технические, психологические и военные законы, но ...в ясном познании определяемой ею собственной ситуации и в задаче правильно различать друга и врага»[1].

Суть совершенного Шмиттом переосмысления политики – в оттеснении на второй план представления о морально благих целях, столь важного для политической философии прошлого. На первое место выходит понимание «политического» как автономной (независимой, в данном случае от морали) сферы деятельности. Иными словами, благодаря Шмитту, политика из объекта моральной философии превращается в объект социологического исследования. Со Шмиттом теория политики получает возможность абстрагироваться от должного и обратиться к сущему, к тому, с чем приходится иметь дело до всякой благой цели. Решение об исключительности, «чрезвычайности» ситуации, о котором говорит Шмитт, и есть акт легитимации насилия, направленный против «чужого» – того, кто чужд поставленной цели и потому окажет сопротивление попыткам ее реализовать.

Возникает вопрос: если противоборство с «чужим» составляет неотъемлемое условие выхода из чрезвычайной ситуации, то какую из задач следует считать главной – разрешение (разными средствами) возникшего конкретного затруднения или же утверждение собственной воли «поверх» любых противодействующих ей воль? И разные ли это задачи? Прямого ответа на это затруднение у Шмитта не найти. С одной стороны, он недвусмысленно дает понять, что в принятии политических решений главное – отстоять коллективную волю, коль скоро она явлена. С другой стороны, Шмитт, как уже говорилось, вслед за Гоббсом кладет в основание социальных реакций людей «страх перед чужим». В этой связи Т.А. Алексеева приводит любопытное суждение Дж. МакКормика: у Шмитта главным принципом государства оказывается *protego ergo obligo* (защищаюсь, следовательно, подчиняюсь)[2]. Самозащита, в отличие от нападения, предполагает компромисс: суверенная воля участника конфликта (схватки) не так важна, как нахождение выхода из чрезвычайной ситуации. В таком случае возможно, что воля суверена сама по себе есть нечто развивающееся, и тогда она в конечном счете представляет собой продукт «эвентуальности борьбы».

В ходе этих рассуждений понимание насилия, его присутствия в политике усложняется настолько, что заставляет поставить под вопрос основополагающую роль шмиттовского различения «друг – враг». Действительно, в чем его смысл? В возможности формировать политические убеждения, индивидуальные и коллективные, путем выяснения, кто в каждой конкретной ситуации является другом, а кто врагом:

[1] Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии, 1992, № 1, с. 50–51.

[2] Алексеева Т.А. Карл Шмитт: автономия политического // Проблема политического. Очерки политической философии XX века. – М. : Идея-Пресс, 2009, с. 35.

«Такие слова, как "государство", "республика ", "общество ", " класс" и, далее, "суверенитет", "правовое государство", "абсолютизм", "диктатура", "план ", "нейтральное государство" или "тотальное государство" и т.д., непонятны, если неизвестно кто in konkreto должен быть поражен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посредством именно такого слова»[1].

Далее. Показателем «серьезности» решения о том, кто – друзья, а кто – враги, является для Шмитта готовность вести войну (за «друзей» и против «врагов»). «Война ... есть бытийственное отрицание чужого бытия». Однако сведение предельного смысла политического отношения к физическому истреблению врага существенно девальвирует само политическое. Исторически последнее выступает как гораздо более емкое понятие – в частности потому, что предполагает учет всего культурно-исторического богатства «практик» политического насилия. Шмитт же строит свою теорию лишь на одном индивидуалистически-буржуазном понимании насилия: его *homo politicus* более всего страшится смерти – своей, но не чужой. Его готовность воевать – не то же самое, что решение рисковать собой ради убеждений или слагать голову «за други своя». Думается, тема самопожертвования сознательно оттеснена Шмиттом на задний план. Ведь подобные раздумья с неизбежностью поставили бы исследователя перед необходимостью соотнесения принципа физического выживания, например, со средневековой этикой чести. Иначе говоря, ему пришлось бы поставить содержательное наполнение понятия политического насилия в зависимость от исторически складывающихся ценностных ориентаций субъектов политики. В этом случае он едва ли смог бы настаивать на том, что основу политического отношения составляет такой надысторичный принцип, как различение «друг – враг». Ради его сохранения Шмитт стремится отдавать предпочтение натуралистически-упрощенным представлениям, и, кажется, даже Гоббс опережает его в понимании неоднозначности предпосылок политического[2]. Из двух доступных толкований целей, имплицируемых отношением «друг – враг» («соревновательность» по Э. Юнгеру и «порядок» по П. Адамсу), Шмитт решительно выбирает второе.

Тема насилия, введенная Шмиттом в современный политический дискурс, получила бурный и неоднозначный отклик. Известная работа Х. Арендт «О насилии» по моменту своего появления отстает от шмиттовского «Понятия политического» почти на 50 лет. Написанная по следам студенческих волнений во Франции конца 1970-х гг., она одновременно является и отповедью Шмитту. Образовавшийся между двумя публикациями промежуток времени лишь подчеркивает возрастающую важность темы.

Ханне Арендт (1902–1975) также довелось жить в условиях правления нацистов, но, в отличие от Шмитта, она принадлежала к числу тех, кто последовательно не принимал это правление. Фашизм стал первым в ее жизни воплощением политического насилия. Позже в «Истоках тоталитаризма» (1951) она отмечала, что тоталитарные общества, в сущности, являются порождением условий, при которых насилие как средство достижения политических целей начинает довлеть над самой целью. В исследовании, непосредственно посвященном насилию, это понимание было развернуто ею в понятийную оппозицию «власть – насилие»: «Суть всякого правления составляет власть, а отнюдь не насилие. Насилие по самой своей природе есть не более чем орудие; как всякое средство, оно неизменно нуждается в наличии некой направляющей цели, служащей к тому же его оправданием. А то, что само по себе нуждается в оправдании или обосновании, не может являться сущностью чего бы то ни было»[3].

В отличие от насилия, власть, по мысли Арендт, есть та реальность человеческого бытия, необходимость которой в обосновании не нуждается. Мы не можем представить себе общества вне отношений господства и подчинения и в то же время вполне допускаем возможность существования отношения господства/подчинения вне отягощенности их насилием. Не будучи зависимой от применения насилия и не нуждаясь во внешнем обосновании,

[1] Шмитт К. Указ. соч., с. 44.

[2] «Человеческую жизнь можно сравнить с состязанием в беге... надо только представить себе, что единственная цель и единственная награда каждого из участников этого состязания – оказаться впереди своих конкурентов» (Гоббс Т. Человеческая природа // Избранные произведения в двух томах. Т. 1. – М. : Мысль, 1964, с. 490).

[3] Арендт Х. О насилии // Мораль в политике. – М. : Изд-во МГУ, 2004, с. 330.

власть, однако, нуждается в легитимности. Легитимностью же своей власть обязана «изначальному объединению усилий». Нормативное обеспечение власти имеет вид практического согласия значительного большинства населения, выражаемого в готовности участвовать в функционировании этой власти. И хотя реализация власти на практике едва ли возможна вне присутствия какого-то числа несогласных с ней людей (а значит, отправление власти никогда не обходится без эпизодов насилия в отношении этих людей), в принципе, полагает она, власть как таковая не нуждается в подкреплении ее насилием.

Насилие, таким образом, трактуется у Арендт как некий внешний фактор. Но оно требует от субъектов политики особой щепетильности именно в вопросе выбора средств. Ведь насилие, несмотря на то что оно является инструментальным по природе, имеет тенденцию узурпировать место, изначально отводимое каким-либо иным целям – в случае, если реализовать оные не удается. И тогда современные общества охватывает процесс деградации, логику которого Арендт проанализировала на примере режимов, основанных на терроре. «Там, где насилие перестает получать поддержку со стороны власти и не сдерживается властью, происходит хорошо известная смена мест в отношении цели и средств. Средства, средства разрушения теперь начинают определять цель, вследствие чего целью оказывается разрушение всяческой власти... Террор – это... форма правления, устанавливаемая тогда, когда насилие, разрушив всяческую власть, сохраняет за собой полный контроль»[1]. Теоретически подобная ситуация интересна именно тем, что власть как деятельное (подкрепленное участием) согласие большинства населения с наличной системой господства и подчинения при таком положении дел практически перестает существовать. Общество вынужденно пребывает в «смуте», будучи лишено власти, главного условия своего существования именно как общества – того, что отличает его от простого физического скопления индивидов. Ситуация «смуты», «безвременья» есть та крайность, которая, по мнению Арендт, ярче всего показывает, что власть и насилие по сути не только не родственны друг другу, но являются антагонистами с точки зрения их политического содержания.

Являясь сторонниками диаметрально противоположных пониманий насилия, Шмитт и Арендт во многом предвосхитили современное политическое размежевание, идущее как раз по линии отношения к насилию. В этом предвосхищении содержится нечто вроде «отклика» на грядущие события. Так, Шмитт в своих поздних работах утверждает, что различение «друг – враг» осуществляется «на уровне веры», т.е. связано с культурной (в широком смысле) идентичностью политических акторов. Между тем, борьба Запада с исламским фундаментализмом, политика «антитеррора» нередко руководствуется идеалом окончательного (Арендт) «избавления» сферы политики от насилия. Как бы предвидя такое развитие событий, Шмитт еще в 1963 г. в работе «Теория партизана» предпослал арендтовской трактовке насилия серьезные возражения. Анализируя практику партизанских и террористических движений, он пришел к выводу, что и то и другое – следствия «изгнания» понятия вражды из принятого политического лексикона эпохи: это изгнание «было большим несчастьем, ибо благодаря ... обереганиям войны европейскому человечеству удалось достичь редкого явления: отказа от криминализации противника в войне, следовательно релятивизации вражды». Институт войны от века выполнял функцию средства недопущения «абсолютной вражды». Последняя возникает, когда людей лишают возможности перевести накопившиеся взаимные претензии в форму конфликта. В этом случае из *ситуативно* плохого «другой» в глазах политического оппонента превращается в *абсолютно* плохого с вытекающими из этого опаснейшими практическими последствиями.

[1] Там же, с. 334–335.